

Борис Васильев

# Не стреляйте белых лебедей



*Часть сборника  
Не стреляйте белых лебедей  
(сборник)*



Борис Васильев

**Не стреляйте белых лебедей**

«АСТ»

1973

**Васильев Б. Л.**

Не стреляйте белых лебедей / Б. Л. Васильев — «АСТ», 1973

ISBN 978-5-17-063441-5

«Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора. Я нахожу его в июньском краснолесье – неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди – серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине – задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении – терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным – разным для людей и разным для себя...»

ISBN 978-5-17-063441-5

© Васильев Б. Л., 1973

© АСТ, 1973

## Содержание

От автора	5
1	6
2	9
3	12
4	17
5	22
6	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Борис Васильев

## Не стреляйте белых лебедей

*Другу, с чьей помощью родилась эта книга, Нине Андреевне Красичковой посвящаю*

### От автора

Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.

Я нахожу его в июньском краснолесье – неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди – серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине – задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении – терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным – разным для людей и разным для себя.

И разной была его жизнь – жизнь для себя и жизнь для людей.

А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе?

Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным – ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть.

# 1

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, иступленно кричала въедливым, как комариный звон, голосом:

– Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права.

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнился.

– У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани легко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседуски сократили до первых двух слогов:

– Харя-то наша опять кормильца своего критикует.

А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну, кадушка кадушкой, ей-богу!), так родная сестра Марья белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала:

– Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!..

Это при ней – Тина и губки гузкой. А без нее – Харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть:

– Тут, Тина, культура. Кино показывают.

Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить – примелькаешься. А у Марьицы (она, стало быть, Харя, а сестрица – Марьица, вот так-то!), так у Марьицы платьев шерстяных – пять штук, костюмов суконных – два да костюмов джерсовых – три целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить.

А причина у Харитины одна: Егор Савельич, муж дорогой. Супруг законный, хоть и невенчаный. Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик, козел его забодай.

Между прочим, друг-приятель приличного человека Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка – дом собственный, пятистенный. Из клейменных бревен: одно в одно, без сучка без задоринки. Крыша цинковая: блестит – что новое ведро. Во дворе – два кабанчика, овец шесть штук да корова Зорька. Удоистая корова – в дому круглый год масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командированных водили:

– Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе. Одним топором сработано, как в старину!

Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело: только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего...

Вздыхала Харитина. Ох, недоглядела за ней матушка покойница, ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила.

Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели – краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со вкусом, с грохотом, с прогрессивкой.

Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлах

остатков некогда звонкого краснолесья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохраным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке.

А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марьице предсказал:

– Хана прогрессивкам, Марья: валить вскорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат.

И подыскал: лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенок и отгрохал, и добра по напас, и хозяйство развел, и хозяйку одел – любо-дорого. Одно слово: голова. Хозяин. И держал себя в соответствии: не елозил, не шебаршил. И рублю и слову цену знал: уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму:

– Нет, не обротал ты жизнь, Егор: она тебя обротала. А почему такое положение? Вникни.

Егор слушал покорно, вздыхал: ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба – все верно. Федор Ипатович говорит все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать: может, за нее, за будущую светлую да разумную, Федор Ипатович еще рюмочку нальет, сдобрится?..

– Да, жизнь обротать – хозяином стать: так-то старики баивали.

– Правда твоя, Федор Ипатыч. Ой, правда!

– Топор ты в руках держать умеешь, не спорю. Но – бессмысленно.

– Да уж. Это точно.

– Руководить тобою надо, Егор.

– Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо!..

Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали. Не сочувствуя – осуждая. И Егор под их взглядами еще ниже голову опускал. Стыдился.

А вникнуть если, то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совесть, и жил смирно, без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит.

С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули. Будто птицы несмышленные или бобыли какие, у которых ни кола ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло.

Тем мартом – метельным, ознобистым – теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии преставилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась: машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла: одна, без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марьица черный плат на пуховую шаль да и брякнула:

– Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе.

– То исть как? – не понял Егор.

– Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатыч новый дом ставит: пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день.

– Каждый день – и новое? – поразила Тина.

– А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот... Дом моделей, промтовары заграничные.

Из темного угла строго смотрели древние лики. И мать божья уже не улыбалась, а хмурилась, да кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели, в этот, как его... в модерн.

– Да, ставит Федор Ипатыч дом – картинка. А старый освобождается: так куда ж его? Продавать жалко: гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатыч и наказал вам его подарить. Ну, пособиите, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать наострился.

Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные: растыкал их господь по дню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет:

– Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притеши. Не ленись, работничек, не ленись: я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью.

Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил: даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволок: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала:

– Змей ты подколодный кровопивец неистовый выжига перелютая!

– Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести.

– Дык это... Стало быть, так, раз оно не этак.

– Ну, и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю.

И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бостоновый.

Помирились. В гости захаживали. Робел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал.

– Свет, Егор, на мужике стоит. Мужиком держится.

– Верно, Федор Ипатыч. Правильно.

– А разве есть в тебе мушциество настоящее? Ну, скажи, есть?

– Дык ведь как... Вон баба моя...

– Да не про то я, не про срам! Тьфу!..

Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то – да на здоровье, граждане милые! С полным вашим удовольствием!..

А Тина только улыбалась. Изо всех сил улыбалась гостям дорогим, сестре родимой да Федору Ипатовичу. Этому – особо: хозяин.

– Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни – жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то...

– Да уж, стало быть, так, раз оно не этак...

## 2

Но зато был Колька. – Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!  
– Ну, и глупо, что так, – ворчала Харитина (она всегда на него ворчала. Как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала). – Во все времена чистоглазым одно занятие: на себе пахать заместо трактора.

– Ну, что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.

Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался – и во все верил. Чего ни соврут, чего ни выдумают – верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся:

– Ну-у?..

Простодушия в этом «ну-у?» на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась. Но спроса на простодушия что-то пока не было, на иное спрос был:

– Колька, ты чего тут сидишь? Тятку твоего самосвалом переехало: кишки изо рта торчат!

– А-а!..

Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали:

– Да куда ты, куда? Живой он, тятка твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?

От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тятка его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тятки на месте: в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от всего сердца.

А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал, как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:

– Отец у него собачье слово знает.

Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.

И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка надломилась), до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног – только кряхтел. Даже докторша удивилась:

– Ишь, мужичок с ноготок!

А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал: ревет сынок в сараюшке (Колька спал там, когда сестренка народилась. Горластая больно народилась-то – вся в маменьку). Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.

– Ты чего, сынок?

Колька поднял зареванное лицо: губы прыгали.

– Ункас...

– Чего?

– Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно – в спину-то?

– Какого Ун... Ункасу?

– Последнего из могикан. Самого последнего, тятка!..

Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи:

– Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться. Настиг и начал биться...

Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок.

А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубашке и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке:

– Хорошая книжка.

Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил:

– Про добрых мужиков.

Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве.

А вот Вовка – погодок, двоюродный братишка – только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости – от обиды. Сильно ревел, до трясушки. И обижался часто. Иной раз ни с того ни с сего обижался.

Вовка книг читать не любил: ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал:

– А он ему – хрясь, хрясь! Да в поддых, в поддых!..

– Больно, поди! – вздыхал Колька.

– Дура! Это ж шпионы.

И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки – одна на все дни:

– Вот бы гипноз такой открыть, чтоб все-все заснули. Ну, все! И тогда б я у каждого по рублику взял.

– Чего ж только по рублику?

– А чтоб не заметил никто. У каждого по рублику – это ого! Знаешь сколько? Тыщи две, наверное.

Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные: про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые.

– Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит.

– Бесплатно?

– Так по улице же.

– Врут. Бесплатно ничего не бывает.

Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович. И глядел так же: с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось:

– Ты, Вовка, скрозь гляди. Сверху все лжа.

Вовка и старался глядеть скрозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал – уходил. Одного не прощал только: когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро, все-таки родная кровь.

А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал, но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятка сказал – значит, так оно и есть.

А вообще-то слонов они только на картинках видели и один раз – в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге, а после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили.

– Умная животная.  
– Тять, а в Индии пашут на них?  
– Нет. – Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал. – Здоров он больно для пахоты-то. Плуг выдернет.  
– А чего ж они там делают?  
– Ну как – чего? Тяжелое всякое. На лесоповале, к примеру.  
– Вот бы нам сюда слона, а, тять? Он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник.  
– Да-а. Жрет много. Сенов не напасешься.  
– А в Индии как же?  
– Дык у них с кормами порядок. Лето сплошное: траву хоть двадцать раз коси.  
– И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверно!  
– Ну, не скажи. У нас получше будет. У нас – Россия. Самая страна замечательная.  
– Самая-самая?  
– Самая, сынок. Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют.

– Значит, мы счастливые, тять?  
– Это не сомневайся. Это точно.

И Колька не сомневался: раз тятька сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более что сам Егор истово в это верил. Ну, а уж если Егор во что-то там верил истово, то и говорил об этом особо, и мнения своего не менял, и даже с самим Федором Ипатовичем спорил крепко.

– Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелешь. Ну, какая на тебе рубаха? Ну, скажи?  
– Синяя.

– Синяя! Дерьмовая на тебе рубаха: с третьей стирки на подтирку. А у меня – заграница. Простирунул, встряхнул – и гладить не надо, и как новая!

– А мне и в этой ладно. Она к телу ближе.

– Ближе! Твоей рубахой рыбу ловить сподручно: к ветру она ближе, а не к телу.

– А ты скажи, Федор Ипатыч, с тебя во тьмах-то, как рубаху сымаешь, искры сыпятся?

– Ну?

– Вот. Потому – чужая она, рубаха-то твоя. И от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадет. Потому – своя, к телу льнет, ластится.

– Бедоносец ты, Егор. Пра слово: бедоносец! Природа обидела.

– Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак...

Улыбался Егор. Смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших спорить не смел: при старших спорить – отца позорить. Наедине возмущался:

– Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяко, а ты смалчиваешь.

– Бранчливых, Коля, сон не любит. Тяжко спят они. Маются. Так-то, сынок.

– С мяса они маются! – сердился Колька.

Сердился он потому, что Егор врал. Врал, сопел при этом, глаза прятал: Колька этого не любил. Не любил отца вот такого, жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам.

– Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки – все от одного корня шли, и корнем тем была Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него, деятельность эта, на новом-то месте, словно вдруг заколодило ее, словно вдруг руки Егору отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже бранчливого Федора Ипатовича.

– Руководить тобою нужно, Егор. Руководить!

Но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого чистоглазого!..

### 3

Не задалась у Егора Полушкина на новом месте привычная работа. Правда, первых два месяца, когда топориком для Федора Ипатовича от солнышка до солнышка позванивал, все вроде нормально шло. Федор Ипатович хоть и руководил им, однако взашей не подталкивал, свою выгоду соблюдая. Мастера торопить нельзя, мастер – сам себе голова: это всякий хозяин сообразит. И хоть и бегал вокруг, и кипятил кровь, а особо подгонять не решался. И Егор работал, как сердце велело: где поднажать, где передохнуть, а где и отойти, присесть на бревнышко, на работу со стороны глянуть. Да не торопливо, не в задыхе – спокойно, взглядчиво, на три сигарки. За эту работу кормили его с семейством ежедень, штаны старые дали и домишко. В общем, Егор не сетовал, не обижался: по закону, по сговору все было сделано. Полмесяца он в новом жилье устраивался, неделю радовался, а потом пошел работу искать. Не за-ради дома да удобства родственника – за-ради хлебушка.

Плотник есть плотник: за ним всегда работа бегаёт – не он за работой. Тем более что весь поселок труд Егоров видел, да и петух тот, его топором сработанный, с конька на весь белый свет кукарекал. Так что взяли Егора, можно сказать, с поясным поклоном в плотницкую бригаду местной строительной конторы. Взять-то взяли, а через полмесяца...

- Полушкин! Ты сколько дён стенку лизать будешь?
- Дык ведь это... Доска с доской не сходится.
- Ну и хрен с ними, с досками! Тебе, что ль, тут жить? У нас план горит, премиальные...
- Дык ведь для людей жа...
- Слазь с лесов! Давай на новый объект!
- Дык ведь щели.
- Слазь, тебе говорят!..

Слезал Егор. Слезал, шел на новый объект, стыдась оглянуться на собственную работу. И с нового объекта тоже слезал под сочную ругань бригадира, и снова куда то шел, на какой-то самоновейший объект, снова делал что-то где-то, топором тюкал, и снова волокли его, не давая возможности сделать так, чтобы не маялась совесть. А через месяц вдруг швырнул Егор казенные рукавицы, взял личный топор и притопал домой за пять часов до конца работы.

- Не могу я там, Тинушка, ты уж не серчай. Не дело у них – понарошка какая-то.
- Ах горе ты мое бедоносец юродивый!..
- Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

Откочевал он в другую бригаду, потом в другую контору, потом еще куда-то. Мыкался, маялся, ругань терпел, но этой поскаковской работы терпеть никак не мог научиться. И мотало его по объектам да бригадам, пока не перебрал он их все, что были в поселке. А как перебрал, так и отступился: в разнорабочие пошел. Это, стало быть, куда пошлют да чего велят.

И здесь, однако, не все у него гладко сходилось. В мае – только земля вздохнула – определили его траншею под канализацию копать. Прораб лично по веревке трассу ему отбил, колышков натыкал, чтоб линия была, по лопате глубину отметил:

- Вот до сих пор, Полушкин. И чтоб по ниточке.
- Ну, понимаем.
- Грунт в одну сторону кидай, не разбрасывай.
- Ну, дык...
- Нормы не задаю: мужик ты совестливый. Но чтоб...
- Нет тут вашего беспокойства.
- Ну, добро, Полушкин. Приступай.

Поплевал Егор на руки, приступил. Землица сочная была, пахучая, лопату принимала легко и к полотну не липла. И тянуло от нее таким родным, таким ласковым, таким добрым

теплом, что Егору стало вдруг радостно и на душе уютно. И копал он с таким старанием, усердием да удовольствием, с какими работал когда-то в родимой деревеньке. А тут майское солнышко, воробьи озоруют, синь небесная да воздух звонкий! И потому Егор, про перекуры забыв, и дно выглаживал, и стеночки обрезал, и траншея за ним еле поспевала.

– Молоток ты, Полушкин! – бодро сказал прораб, заглянувший через три часа ради успокоения. – Не роешь, а пишешь, понимаешь!

Писал Егор из рук вон плохо и потому похвалу начальства не очень чтобы понял. Но тон уловил и наддал изо всех сил, чтобы только угодить хорошему человеку. Когда прораб явился в конце рабочего дня, чтобы закрыть наряд, его встретила траншея трехдневной длины.

– Три смены рванул! – удивился прораб, шагая вдоль канавы. – В передовики выходишь, товарищ Полушкин, с чем я тебя и...

И замолчал, потому что ровная, в нитку траншея делала вокруг ничем не примечательной кочки аккуратную петлю и снова бежала дальше, прямая как стрела. Не веря собственным глазам, прораб долго смотрел на загадочную петлю и не менее загадочную кочку, а потом потыкал в нее пальцем и спросил почти шепотом:

– Это что?

– Мураши, – пояснил Егор.

– Какие мураши?

– Такие, это... Рыжие. Семейство, стало быть. Хозяйство у них, детишки. А в кочке, стало быть, дом.

– Дом, значит?

– Вот я, стало быть, как углядел, так и подумал...

– Подумал, значит?

Егор не уловил ставшего уже зловещим рефрена. Он был очень горд справедливо заслуженной похвалой и собственной инициативой, которая позволила в неприкосновенности сохранить муравейник, случайно попавший в колею коммунального строительства. И поэтому разъяснил с воодушевлением:

– Чего зря зорить-то? Лучше я кругом окопаю...

– А где я тебе кривые трубы возьму, об этом ты не подумал? На чьей шее я чугунные трубы согну? Не сообразил?.. Ах ты, растудить твою...

Про петлю вокруг муравьиной кучи прораб растрезвонил всем, кому мог, и проходу Егору не стало. Впрочем, он еще терпел по великой своей привычке к терпению, еще ласково улыбался, а Колька ходил сплошь в синяках да царапинах. Егор сразу заметил синяки эти, но сына не трогал: вздыхал только. А через неделю учительница пришла.

– Вы Егор Савельич будете?

Нечасто Егора отчеством величали, ох нечасто! А тут – пигалица, девчоночка, а – уважительно.

– Знаете, ваш Коля пятый день в школу не ходит.

– Как так получается?

– Наверное, обидел его кто-то, Егор Савельич. Сначала он дрался очень, а потом пропал. Я его вчера на улице встретила, хотела расспросить, но он убежал.

– Неуважительно.

– Вы поговорите с ним, Егор Савельич. Поласковее, пожалуйста: он мальчик чуткий.

– Конечно, как водится. Спаси бог за беспокойство ваше.

Поздним вечером, когда в окнах засветились телеэкраны, Егор застал Кольку в сараюшке. Колька было прикинулся спящим, засопел почище поросенка, но отец будить его не стал, а просто сел на топчан, достал кисет и начал скручивать сигарку.

– Учителка твоя приходила давеча. Обходительный человек.

Примолк Колька. И поросенок тоже примолк.

– Ты ее не тревожь, сынок, не беспокой. У ней, поди, и без нас хлопот-то.

Повернулся Колька, сел, глаза вытаращил. Злющие глазищи, сухие.

– А я Тольке Безуглову зуб вышиб!

– Ай, ай! Что же так-то?

– А смеется.

– Ну, дык и хорошо. Плакать нехорошо. А смеяться – пусть себе.

– Так над тобой же! Над тобой!.. Как ты трубы гнул вокруг муравейника.

– Гнул, – сознался Егор. – А что чугунные-то не гнутся, об этом не додумал. Жалко, понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место обжитое.

– Ну а что, кроме смеху-то, что? Все равно ведь канаву спрямили – только зря ославился.

– Не то, сынок, что ославился, а то, что... – Егор вздохнул, помолчал, собирая в строй разбежавшиеся мысли. – Чем, думаешь, работа держится?

– Головой!

– И то. И головой, и руками, и сноровкой, а главное – сердцем. По сердцу она – человек горы свернет. А уж коли так-то, за-ради хлебушка, то и не липнет она к рукам то. Не дается, сынок, утекает куда-то. И руки тогда – как крюки, и голова – что пустой чугунок. И не дай тебе господь, сынок, в месте своем ошибиться. Потому место все определяет для сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится. И шумно тут, и народ дерганый, и начальство все спешит куда-то, все гонит, подталкивает да покрикивает. И выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти – не удумаю, не умыслю. Никак не удумаю – вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело – на людей обиду держать. Самое последнее.

Говорил он это не сыну в учение, а по совести. Сам-то он на людей обижаться не умел, обиды прощал щедро и даже на прораба того, что по поселку его ославил и от работы всенародно отстранил, никакого зла не держал. Сдал очередные казенные рукавицы и опять пошел в отдел найма.

– Ну, что мне с тобой, Полушкин, делать? – вздыхал начальник. – И тихий ты, и старательный, и непьющий, и семья опять же, а на одном месте больше двух недель не удержишься... Куда тебя теперь...

– Воля ваша, – сказал Егор. – Какое будет распоряжение.

– Распоряжение!.. – Начальник долго пыхтел, чесал в затылке. – Слушай, Полушкин, тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? Что скажешь?

– Можно, – сказал Егор. – И грести умеем, и конопатить, и смолить. Это можно.

Прошлым летом речку под поселком запрудили. Разлилась, ложки затопила, углом к лесу подобралась: к тому, последнему, что вокруг Черного озера еще сохранился. Ожили старые вырубки, березняком закудрявились, ельником да сосенником заштитинились. И уж не только свои, поселковые, – из центра туристы наезжать стали. Из самой даже вроде бы Москвы.

Вот тогда-то и сообразило местное начальство свою выгоду. Туристу, а особо столичному, что надо? Природа ему нужна. По ней он среди асфальта да многоэтажек своих бетонных с осени тосковать начинает, потому что отрезан он от земли камнем. А камень – он не просто душу холодит, он трясет ее без передыху, потому как не способен камень грохот уличный угасить. Это тебе не дерево – теплое да многотерпеливое. И грохот тот городской, шараясь от камней да бетона, мечется по улицам и переулкам, проползает в квартиры и мотает беззащитное человеческое сердце. И уже нет этому сердцу покоя ни днем ни ночью, и только во сне видит оно росные зори и прозрачные закаты. И мечтает душа человеческая о покое, как шахтер после смены о тарелке щей да куске черного хлебушка.

Но чистой природой горожанина тоже не удержишь. Во-первых, мало ее, чистой, осталось, а во-вторых, балованный он, турист-то. Он суетиться привык, поспешать куда-то и просто так над речушкой какой от силы два часа высидит, а потом либо транзистор запустит на

всю катушку, либо, не дай бог, за поллитрой потянется. А где поллитра, там и вторая, а где вторая, там и безобразия. И чтобы ничего этого не наблюдалось, надо туриста отвлечь. Надо лодку ему подсунуть, рыбалку организовать, грибы-ягоды, удобства какие-нито. И две выгоды: безобразий поменьше, да денга из туристского кармана в местный бюджет все же просочится, потому что за удовольствия да за удобства всякий свою копейку выложит. Это уж не извольте сомневаться.

Все эти разъяснения Егор получил от заведующего лодочной станцией Якова Прокопыча Сазанова. Мужик был пожилой, сильно от жизни уставший: и говорил тихо, и глядел просто. Был он в прошлом бригадиром на лесоповале да как-то оплошал: под матерую сосну угодил в полной натуре. Полгода потом по больницам валялся, пока все в нем на прежние места не вернулось. А как оклемался маленько, так и определили его сюда, на лодочную станцию.

– Какая твоя, Полушкин, будет забота? Твоя забота – это, перво-наперво, ремонт. Чтоб был порядок: банки на месте, стлани годные, весла в порядке и воды чтоб в лодках не боле кружки.

– Сухо будет, – заверил Егор. – Ясно-понятно нам.

– Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота – пристань. Чтоб чисто было, как в избе у совестливой хозяйки.

– Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристани-то, так сделаем.

– Есть с пристани запрещаю, – устало сказал Яков Прокопыч. – Под навесом столики сообразим и ларек без напитков. Ну, может, чай. А то потопнет кто – затаскают.

– А если свое привезут?

– Свое нас не касается: они люди вольные. Однако если два своих-то, придется отказать.

– Ага!

– Но – обходительно. – Яков Прокопыч важно поднял палец: – Обходительность – вот третья твоя забота. Турист – народ нервный, больной, можно сказать, народ. И с ним надо обходительно.

– Это уж непременно, Яков Прокопыч. Это уж будет в точности.

С заведующим разговаривать было легко: не орал, не матерился, не гнал. Разумные вещи разумным голосом говорил.

– Лодки, когда напрокат, это я отпускать буду. Но ежели перевезти на ту сторону подрядят, тогда тебе идти. Пристанешь, где велят, поможешь вещи сгрузить и отчалишь, только когда спасибо скажут.

– До спасибо, значит, ждать?

– Ну, это к примеру я, Полушкин, к примеру. Скажут: свободен, мол, – значит, отчаливай.

– Ясно-понятно.

– Главное тут – помочь людям. Ну, может, костер им сообразить или еще что. Услужить, словом.

– Ну, дык...

Яков Прокопыч посмотрел на Егора, прикинул, потом спросил:

– На моторе ходил когда?

– Ходил! – Егор очень обрадовался вопросу, потому что это выходило за рамки его плотницких навыков. Это было нечто сверх нормы, сверх обычного, и этим он гордился. – Ну, дык, ходил, Яков Прокопыч! Озера у нас в деревне неоглядные! Бывало, пошлет председатель...

– Какие знаешь?

– Ну, это... «Ветерок», значит, знаю. И «Стрелу».

– У нас «Ветерок», три штуки. Вещь ценная, понимать должен. И на мне записана. Их особо береги: давать буду лично под твою прямую ответственность. И только для перевозок в дальние концы: в ближние и на веслах достигнешь.

– На моторе хожено-езжено! Это не беспокойтесь! Это мы понимаем!

Но в моторах нужды пока не было, потому что дальний турист ныне что-то запаздывал. А ближних туристов да местную молодежь интересовали только лодки напрокат, для прогулки. Этими делами занимался сам Яков Прокопыч, а Егор с увлечением конопатил, чинил и красил обветшавший за зиму инвентарь. И уставал с удовольствием, и спал крепко, и улыбаться начал не так: не поспешно, не второпях, а с устатку...

## 4

Теперь Колька ходил в школу аккуратно. За полчаса появлялся, раньше учительниц. И на уроках сидел степенно, а когда что-нибудь интересное рассказывали – ну, про зверей или про историю с географией, – рот разевал. Все этого момента ждали, весь класс. И как только случалось – враз замирали, и Вовка тайком от учительницы трубочку поднимал. Из бузины трубочка: напихаешь в нее шариков из промокашки, прицелишься, дунешь – точно Кольке в рот разинутый. Вот уж веселья-то!

Сколько раз Колька на это попадался – и счет потеряли. Пока помнил, крепко рот зажимал, губа к губе. А как начнет учительница про древних героев рассказывать или стихи читать – забывался. Забывался, ловил каждое слово и рот, наверное, для того и разевал, чтобы слов этих не упустить. Вот тут-то в него и стреляли. И если удачно, Оля Кузина в ладоши хлопала, а Вовка куражился:

– Снайпер я. Я в кого хочешь камнем за сто шагов попасть могу!

Оля Кузина на него широкими глазами смотрела. Только ресницы вздрагивали. Из-за таких ресниц любой бы в драку полез, а Кольке все не до того было:

– Слыхал, что Нонна Юрьевна про богатыря Илью Муромца рассказывала? Сиднем, говорит, тридцать три года сидел, а как пришли калики перехожие...

– Так ты и рот разинул! А я в него – жеванкой!

– С чернилами жеванка-то! – восторгалась Оля Кузина.

– Ты разиня, а я снайпер! Правда, Олька?

Очень важничал Вовка. А два дня назад уж так разважничался, что и про плевательную трубку свою забыл. Ходил, живот выставив:

– Папку в область вызывают. Удочку бамбуковую привезти обещался.

Федора Ипатовича провожали по-родственному: со столом да с поклонами. Пути желали счастливого, возвращения быстрого, дела удачливого. Федор Ипатович брови супонил, задумывался:

– С чего бы это приспичило им?

– А для совета, – подсказывала Харитина. – Для совета, Федор Ипатыч, для совещания с вами.

– Совещания? – вздыхал хозяин почему-то: – Мда...

– Путь вам тележный, ямщик прилежный, кобылка поигривистей да песня позаливистей, Федор Ипатыч!

Чокался хозяин, благодарил. Но не пил, в сторону стакан отставлял, хмурился:

– И с чего бы это им вызывать меня, а?

Отбыл чин чином: и сыт, и хмелен, и ус в табаке. Неделю отсутствовал и вернулся без предупреждения: ни письмеца, ни телеграммы вперед не выслал. Марьяца всполошилась:

– Ахти мне, гостей за пустой стол сажать!

– Погоди, Марья. Не надо гостей.

– Как же не надо, Федя? Обычай ведь. Не нами заведено.

Крякнул Федор Ипатович:

– Ну, зови. Черт их с обычаями...

Гостей Федор Ипатович любил принять широко, с простором и с временем. Но и с выбором тоже: кого ни попадя за стол не сажал. Из райисполкома инструктор навевался (рыбалку любил пуще молодой жены!), из поссовета кое-кто заглядывал. Ну, конечно, завторг, завмаг, завгар: на земле живем, не на небе. И (а куда его денешь?) – свояк. Егор Полушкин с Харей своей разлюбезной.

– Будь здоров, Федор Ипатыч, с прибытием! Как ездилось-путешествовалось по областной нашей столице? Что на рынке слышно насчет вздорожания, что в кругах говорят насчет космоса?

Федор Ипатович с ответами не спешил. Доставал чемодан заграничный, при гостях ремни расстегивал:

– Не обессудьте, примите в подарок. Не на пользу – так, для памяти.

Всех одаривал, никого не забывал. И Егору с Харитиной перепадало: а что ты сделаешь? Даже Кольке компас подарил:

– Держи, племяш. Чтоб не блудить.

Хохотали все почему-то. А Колька от счастья светился, как ранняя звездочка: компас ведь! Настоящий, со стрелкой, с югом-севером.

«Эй, там, на руле! Четыре румба к весту! Так держать!»

«Есть так держать!»

Вот о чем компас ему рассказывал. А насчет того, чтобы не заблудиться, так Колька в лесу – как вы в своих квартирах. С какой стороны кора шершавее? Не знаете? А Колька знает, так что для леса компас ему не нужен. Он ему для путешествий очень даже нужен. Прямо позарез нужен.

«Эй, на Марсе! Не видно ли земли обетованной?»

«Не видно, капитан! Одно море бурное кругом!»

«Так держать! Будет земля впереди!»

Это он, конечно, про себя выкрикивал: зачем зря людей пугать? Не поймут: расстроятся.

А Вовка складную удочку получил, трехколенку. Хвастался:

– Навалом рыбки будет! Тебе, пап, какую поймать?

– Понавесистей! – кричали. – С подкожным жирком!

Улыбался Федор Ипатович. Гладил сына по ершистой голове, а улыбался невесело. И когда самые важные гости ушли, не выдержал:

– Лесничий новый вызывал. Столичная штучка-дрючка. Почему, говорит, лес неустроенный? Где, говорит, акты на порубку? Где, говорит, профилактика против вредителей? А сам в карту глядит: в лесу нашем еще и не бывал. А уж грозится.

– Ай, ай! – вздыхал Егор; это ему Федор Ипатович жаловался, потому что некому больше жаловаться было, а – хотелось. – У меня, знаешь, тоже это... Неприятности.

Но неприятности Егора мало волновали Федора Ипатовича: своих забот хватало.

– Да-а. Ну, ничего, обомнется. Жизнь, она и не с таких пух да перо берет, верно? Обо-мнется, мне же поклонится. Без меня тут никакому лесничему не усидеть, я все ходы-выходы да переходы знаю. И кто с кем по субботам водочкой балуется, тоже мне известно. Кто с кем пьет да как потом выглядит.

– Да, выглядит, это точно. Кто как выглядит, это правильно, – бормотал Егор.

Он выкушал два лафитничка и страдал о своем. Потому страдал, что впервые вызвал гнев усталого Якова Прокопыча и теперь очень боялся потерять тихую, уважительную, с такими мытарствами обретенную пристань.

– Я, значит, чтоб понятней было, какая где. Чтоб не искать и чтоб красиво.

– Счетов на проданный лес не поступало? – гнул свое хозяин. – Ладно, сделаем вам счета. Будут вам все счета, раз считаться хотите. А считаться начнем, не больно долго-то в кабинете своем продержитесь. Не-ет, недолго...

– А он говорит: в голубое, мол, пускай. А если все в голубое пустить или, скажем, все в розовое – это что тогда получится? Это получится полное равнодушие.

– Равнодушие? – Федор Ипатович поморгал красными глазками (перехватил маленько с огорчения-то). – Это ты верно, свояк, насчет равнодушия. Ну, я ему это равнодушие покажу. Я ему припомню равнодушие-то, я...

– Во-во, – закивал Егор. – Красота – это разве когда все одинаковое? Красота – это когда разное все! Один, скажем, синий, а другой, наоборот же, розовый. А без красоты как же можно? Без красоты как без праздника. Красота – это...

– Ты чего мелешь-то, бедоносец чертов? Какая красота? Деньги он с меня за дом требует, деньги, понятно тебе? А ты – красота! Тьфу!..

Заюлил Егор, захихикал: чего зря хозяина гневить? Но – расстроился. Сильно расстроился, потому что так и не удалось ему огорчением своим поделиться. А с огорчением спать ложиться да еще после двух лафитничков – шапетиков во сне увидишь. Натуральных – с хвостиком, с рожками и с копытцами. Тяжелый сон: душить будут шапетики, так старые люди говорят. А они знают, что к чему. Они, поди, лафитничков-то этих за свою жизнь принимались – с озеро Онегу. И с радости, и с огорчения.

И опять ворочался Егор в постели, опять вздыхал, опять казнил. Ох, непутевый он мужичонка, ох, бедоносец, божий недогляд!

Старался Егор на этой работе – и про перекуры забывал. Бегом бегал, как молодой. Заведующий только-только рот разинет:

– Ты, Полушкин...

– Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

И – бежал. Угадал – хорошо, не угадал – обратно бежал, за разъяснениями. Но старание было, как у невесты перед будущей свекровью.

– Лодки ты хорошо проконопатил, Полушкин. И засмолил хорошо, хвалю... Стой, куда ты?

– Я, это...

– Дослушай сперва, потом побежишь. Теперь лодки эти следует привести в праздничную внешность. В голубой цвет. А весла – лопасть только, понял? – в красный: чтоб издали видно было, ежели кто упустит. А на носу у каждой лодки номер напишешь. Номер – черной краской, как положено. Вот тебе краски, вот тебе кисти и вот тебе бумажка с номерами. Срисуеть один номер – зачеркни его, чтобы не спутаться. Другой срисуеть – другой зачеркни. Понял, Полушкин?

– Понял, Яков Прокопыч. Как тут не понять?

Схватил банки – только пятки засверкали. Потому засверкали, что сапоги Егор берег и ходил в них от дома до пристани да обратно. А на работе босиком поспешал. Босиком и удобства больше, и выходит спорее, и сапоги зря не снашиваются.

Три дня лодки в голубой колер приводил. Какие там восемь часов: пока работалось, не уходил. Уж Яков Прокопыч все хозяйство свое пересчитает, замки повесит, оглядит все, домой соберется, а Егор всю еще старается.

– Закругляйся, Полушкин.

– Счас я, счас, Яков Прокопыч.

– Пятый час время-то. Пора.

– А вы ступайте, Яков Прокопыч, ступайте себе. За краску и кисточки не беспокойтесь: я их домой отнесу.

– Ну, как знаешь, Полушкин.

– До свидания, Яков Прокопыч! Счастливого пути и семейству поклон.

Даже не поворачивался, чтоб время зря не терять. В два слоя краску накладывал, сопел, язык высовывал: от удовольствия. Пока лодки сохли, за весла принялся. Здесь особо старался: красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь – в холод уйдет, в густоту; недоборщишь – в розовый ударится. А цвет Егор чувствовал: и малярить приходилось, и нутро у него на цвета настроено было особо, от купели, что называется. И так он его пробовал, и этак – и вышло, как хотел. Горели лопасти-то у весел, далеко их было видеть.

А вот как за номера взялся, как расписал первых-то два (№ 7 и № 9 – по записочке), так и рука у него провисла. Скучно – черное на голубом. Номер – он ведь номер и есть, и ничего за ним больше не проглядывает. Арифметика одна. А на небесной сини арифметика – это ж расстроиться можно, настроение потерять. А человек ведь с настроением лодку-то эту брать будет: для отдыха, для удовольствия. А ему – номер девять: черным по голубому. Как на доме: сразу про тещу вспомнишь. И от праздничка в душе – пар один.

И тут Егора словно вдруг ударило. Ясность вдруг в голову пришла, такая ясность, что он враз кисть бросил и забегал вокруг своих лодок. И так радостно ему вдруг сделалось, что от радости этой – незнакомой, волнующей – вроде затрясло его даже, и он все никак за кисть взяться не мог. Словно вдруг испугался чего-то, но хорошо как-то испугался, весело.

Конечно, посоветоваться сперва следовало: это он потом сообразил. Но посоветоваться тогда было не с кем, так как Яков Прокопыч уже подался восвояси, и поэтому Егор, покурился и не успокоившись, взял кисть и для начала закрасил на лодках старательно выписанные черные номера «7» и «9». А потом, глубоко вздохнув, вновь отложил кисть и разыскал в кармане огрызок плотницкого карандаша.

В тот раз он до глубокой ночи работал: благо ночи светлые. Благоверная его уж за ворота пять раз выбегала, уж голосить пробовала для тренировки: не утоп ли, часом, муженек-то? Но Егор, пока задуманного не совершил, пока кисти не вымыл, пока не прибрался да пока вдосталь не налюбовался на дело рук своих, домой не спешил.

– Господи где ж носило-то тебя окаянного с кем гулял-блукал ночью темною изверг рода ты непотребного...

– Работал, Тина, – спокойно и важно сказал Егор. – Не шуми: полезную вещь сделал. Будет завтра радость Якову Прокопычу.

Чуть заря занялась – на пристань прибежал: не спалось ему, не терпелось. Еще раз полюбавался на труд свой художественный и с огромным, радостным нетерпением стал ожидать прихода заведующего.

– Вот! – сказал вместо «здравствуйте». – Смотрите, что удумал.

Яков Прокопыч глядел долго. Основательно глядел, без улыбки. А Егор улыбался от уха до уха: аж скулы ломило.

– Так, – уронил наконец Яков Прокопыч. – Это как понимать надо?

– Оживление, – пояснил Егор. – Номер, он что такое? Арифметика он голая. Черное на голубом: издавека-то и не разберешь. Скажем, велели вы седьмой номер выдать. Ладно-хорошо: ищи, где он, седьмой-то этот. А тут – картинка на носу: гусенок. Человек сразу гусенка углядит.

Вместо казенных черных номеров на небесной сини лодок были ярко намалеваны птицы, цветы и звери: гусенок, щенок, георгин, цыпленок. Егор выписал их броско, мало заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей: у щенка – вислые уши и лапа, у георгина – упругость стебля, согнутого тяжелым цветком, у гусенка – веселый разинутый клюв.

– Вот и радостно всем станет, – живо продолжал Егор. – Я – на цыпленке, а ты, скажем, на поросенке. Ну-ка, догоняй! Соревнование.

– Соревнование? – переспросил озадаченный Яков Прокопыч. – Гусенка с поросенком? Так. Дело. Ну, а если перевернется кто, не дай бог? Если лодку угонят, тоже не дай бог? Если ветром унесет ее (твоя вина будет, между прочим)? Что я, интересное дело, милиции сообщать буду? Спасайте цыпленка? Ищите поросенка? Георгинчик сперли? Что?!

– Дык, это...

– Дык это закрасить к едреной бабушке! Закрасить всех этих гусенков-поросенков, чтобы и под рентгеном не просвечивали! Закрасить сей же момент, написать номера, согласно порядку, и чтоб без самовольности! Тут тебе не детский сад, понимаешь ли, тут тебе очаг

культуры: его из райкома посетить могут. Могу я секретаря райкома на георгин посадить, а? Могу?.. Что они про твоих гусенков-поросенков скажут, а? Не знаешь? А я знаю: абстракт. Абстракт, они скажут, Полушкин.

– Чего скажут?

– Не доводи меня до крайности, Полушкин, – очень проникновенно сказал Яков Прокопыч. – Не доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный, у меня справка есть. Как вот дам сейчас веслом по башке...

Ушел Егор. Скучно и долго закрашивал произведения рук своих и сердца, вздыхал. А упрямые гусятки-поросята вновь вылезали из-под слоя просохшей краски, и Егор опять брал кисть и опять закрашивал зверушек, веселых, как в сказках. А потом холодно и старательно рисовал черные номера. По бумажке.

– Опасный ты человек, Полушкин, – со вздохом сказал Яков Прокопыч, когда Егор доложил, что все сделано.

Яков Прокопыч пил чай из термоса. На термосе были нарисованы смешные пузатые рыбы с петушиными хвостами. Егор глядел на них, переступая босыми ногами.

– Предупреждали меня, – продолжал заведующий. – Все прорабы предупреждали. Говорили: шепотной ты мужик, с фантазиями. Однако не верил.

Егор тихо вздыхал, но о прощении помалкивал. Чувствовал, что должен бы попросить – для спокойствия дальнейшей жизни, – что ждет этого Яков Прокопыч, но не мог. Себя заставить не мог, потому что очень был сейчас не согласен с начальником. А с термосом – согласен.

– Жить надо как положено, Полушкин. Велено то-то – делай то-то. А то, если все начнут фантазировать... Знаешь, что будет?

– Что? – спросил Егор.

Яков Прокопыч дожевал хлебушко, допил чай. Сказал значительно:

– Про то даже думать нельзя, что тогда будет.

– А космос? – спросил вдруг Егор (и с чего это понесло его?). – Про него сперва фантазии были: я по радио слышал. А теперь...

– А мат ты слышал?

– Приходилось, – вздохнул Егор.

– А что это такое? Мат есть брань нецензурная, понял? А еще есть – цензурная. Так? Вот и фантазии тоже: есть цензурные, а есть нецензурные. У тебя – нецензурная.

– Это поросенок-то с гусенком нецензурные? – усомнился Егор.

– Я же в общем смысле, Полушкин. В большом масштабе.

– В большом масштабе они гусем да свиньей будут.

– А гусь свинье не товарищ!.. – затрясся вдруг Яков Прокопыч. – И марш с глаз моих, покуда я тебя лично нецензурной фантазией не покрыл!..

Вот аккурат после этого разговора Федор Ипатович-то и прибыл, и встречали его тогда всем миром с возвращеньцем. Вот почему и завздыхал-то Егор всего с двух лафитничков, заскучал, заопасался.

Но опасаться, как вскорости выяснилось, было еще преждевременно. Усталый Яков Прокопыч зла в сердце не держал, как выкричался, а вскоре и вообще позабыл об этом происшествии. И снова радостно заулыбался Егор, снова забегал, сверкая голыми пятками.

– Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

С другой стороны беда подкрадывалась. Тяжелая беда, что туча на Ильин день. Но про беду собственную человеку вперед знать не дано, и потому бьет она всегда из-за угла. И потом только вздыхать остается да в затылке почесывать:

– Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!..

## 5

Водка во всем виновата оказалась. Впрочем, не водка даже, а так, не поймешь что. Невезуха, одним словом.

Вообще-то Егор пил мало: и денег сроду у него не водилось, и вкуса он к ней особого не чувствовал. Нет, не отказывался, конечно, упаси бог: на это ума хватало. Но не предлагали, правда, чести не оказывали. Разве что свояк Федор Ипатович угощал. По случаю. Случаев было мало, но пьянел Егор быстро. То ли струна басовая в нем не настроена была, то ли болезнь какая внутренняя, то ли просто слаб был, картошечку капусткой который год заедая. И Егор хмелел быстро, и Харитина от него тоже не отставала: с полрюмочки маковым цветом цвела, а с рюмочки уж и на песню ее потягивало. Песен-то она знала великое множество, но с водочки, бывало, только припевки пела. И не припевки даже, а припевку. Одну-единственную, но печальную:

Ох, тягры-тягры-тягры,  
Ох, тягры да вытягры!  
Кто б меня, младу-младену,  
Да из горя б вытягнул...

Так, стало быть, хмель ее направлял – в печальную сторону. Хмель, он ведь кому куда кидается: кому – в голос, кому – в кулак, кому – в сердце, кому – в голову, а Егору – в ноги. Не держали они его, гнулись во всех направлениях и путались так, будто не две их у него, а штук восемь, как у рака. На Егора это обстоятельство действовало всегда одинаково: он очень веселился и очень всех любил. Впрочем, он всегда очень всех любил. Даже в трезвом состоянии. В тот день с утра раннего первый турист припожаловал: трое мужиков да с ними две бабеночки. Издалека, видать, пожаловали: мешков у них было навалом. И сами не по-местному выглядели: мужики сплошь – без кепок и в штанах с заклепками, а бабенки их – наоборот: в белых кепках. И в таких же штанах – только в облипochку. В такую облипochку, что Егор все время на них косился. Как забудется маленько, так и косится: было, значит, на что коситься.

– Доброго здравия, гости дорогие. – Яков Прокопыч пел – не говорил. И кепку снял уважительно. – Откуда это будете, любопытно узнать?

– Отсюда не видно, – ответили. – На ту сторону перевезете?

– На ту сторону можно. – Яков Прокопыч и кепку надел, и улыбку спрятал. – Перевезем, согласно тарифу на лодке с мотором. Прошу оплатить проезд в оба конца.

– А почему же в оба?

– Лодка вас куда потребуется доставит, а обратно порожняком пойдет.

– Справедливо, – сказал второй и за кошелем полез.

Егор этих мужиков по мастям сразу распределил: сивый, лысый да плешивый. И бабенок соответственно: рыжая и пегая. Они в дело не встречали: разговоры сивый с плешивым вели. А лысый окрестностями любовался.

– Как, – спросил, – рыбка ловится у вас?

Бабенки возле мешков своих щебетали, а Колька рядом вертелся. В школе занятия кончились, так он иногда сюда заглядывал, отцу помогал. Бабенки на него внимания не обращали, потому что кружил он в отдалении, но когда рыжая из мешка бинокль (настоящий бинокль-то!) вытащила, его вмиг подтянуло. Точно лебедкой.

– Ах, какой мальчуган славный! – сказала пегая. – Тебя как зовут, мальчик?

– Колькой, – охрип вдруг Колька: басом представился.

– А грибы у вас растут, Коля?

– Рано еще грибам, – прохрипел Колька. – Сыроеги прут кой-где, а масляткам слой не вышел.

– Что не вышло масляткам? – Рыжая даже бинокль опустила.

– Слой им не вышел, – пояснил Колька, и ноги его сами собой шаг к этому биноклю совершили. – Грибы слоями идут: сперва маслятки, потом – серяки, за ними – красноголовик с боровиком пойдут. Ну, а следом настоящему грибу слой: груздям и волнухам.

– Слой – это когда много их, да?

– Много. Тогда и берут. А так – баловство одно.

И еще шаг к биноклю сделал: почти что животом в него уперся. И глядеть никуда не мог: только на бинокль. Настоящий ведь бинокль, товарищи милые!

– Хочешь посмотреть?

Колька «да» хотел сказать, рот разинул, а вместо «да» бульканье какое-то произошло. Непонятное бульканье, но рыжая все-таки протянула:

– Только не урони.

– Не-а.

Пока тятка мотор получал да наставления от Якова Прокопыча выслушивал, Колька в бинокль смотрел. Если в маленькие окошечки глядеть – большое все видится. А если в большие окошечки, то все, наоборот, маленькое. Непонятно совершенно: должно же большое, если в большое, и маленькое, если в маленькое, правда? А тут все не так. Не так, как положено. И это обстоятельство Кольку куда больше занимало, чем прямое назначение бинокля: он все время вертел его и глядел на ворону с разных концов.

– Зачем же ты его вертишь? – спросила рыжая. – Смотреть надо в окуляры, вот сюда.

– Я знаю, – тихо сказал Колька.

– А для чего же вертишь?

– Так, – застеснялся Колька. – Интересно.

– Сынок! – позвал Егор. – Подсоби-ка мне тут, сынок.

Сунул Колька бинокль в руки рыжей, хотел «спасибо» сказать, но из глотки опять сип какой-то вылез, и пришлось убежать без благодарности. А пегая сказала:

– Туземец.

– Оставь, – лениво отмахнулась рыжая. – Обычный плохо воспитанный ребенок.

Под недреманным оком Якова Прокопыча Егор нацепил «Ветерок» на корму «девятки» (бывший «Утенок» – пузатенький, важный, Егор про это помнил), установил бачок с горючим. Колька весла приволок, ключины, черпачок – все, что положено.

– Все ладно-хорошо, Яков Прокопыч, – доложил Егор.

– Опробуй сперва, – сказал заведующий и пояснил туристам: – Первая моторная навигация, можно сказать. Чтоб ошибок не было.

– Нельзя ли поживее повернуть весь этот ритуал? – ворчливо поинтересовался лысый.

– Так положено, граждане туристы: техника безопасности. Давай, Полушкин, отгребайся.

Про технику безопасности Яков Прокопыч с ходу выдумал, потому что правил таких не было. Он про свою безопасность беспокоился.

– Заведи, Полушкин, мотор на моих глазах. Кружок сделай и обратно пристань, где я нахожусь.

– Ясно-понятно нам.

Колька на веслах отгреб от причала. Егор поколдовал с мотором, посовал в него пальцы и завел с одного рывка. Прогрел на холостых оборотах, ловко включил винт, совершил для успокоения заведующего несколько кругов и без стука причалил. Хорошо причалил: на глаз прикинул, где обороты снять, как скорость погасить. И – заулыбался:

– В тютельку, Яков Прокопыч!

– Умеешь, – сказал заведующий. – Разрешаю грузиться.

Егор с сыном на пристань выскочили, быстренько мешки погрузили. Потом туристы расселись, Колька – он на носу устроился – от пристани оттолкнулся, Егор опять завел «Ветерок», и лодка ходко побежала к дальнему лесистому берегу.

О чем там в пути туристы толковали, ни Егор, ни тем более Колька не слышали. Егор – за моторным грохотом, а Колька потому, что на носу сидел, видел, как волны разбегаются, как медленно, словно с неохотой, разворачиваются к нему другой стороной дальние берега. И Кольке было уже не до туристов: впередсмотрящим он себя чувствовал и только жалел, что, во-первых, компас дома остался, а во-вторых, что рыжая тетенька дала ему поглядеть в бинокль преждевременно. Сейчас бы ему этот бинокль!

А туристы калякали о том, что водохранилище новое и рыбы тут особой быть не может. До Егора иногда долетали их слова, но значения им он не придавал, всецело поглощенный ответственным заданием. Да и какое было ему дело до чужих людей, сбежавших в тишину и покой на считанные денечки! Он свое дело знал: доставить, куда прикажут, помочь устроиться и отчалить, только когда отпустят.

– К обрывчику! – распорядился сивый. – Произведем небольшую разведочку.

Разведочку производили в трех местах, пока наконец и рыжая и пегая не согласовали своих пожеланий. Тогда приказали выгружаться, и Егор с сыном помогли туристам перетащить пожитки на облюбованное под лагерь место.

Это была веселая полянка, прикрытая разросшимся ельничком. Здесь туристы быстро поставили просторную ярко-желтую палатку на алюминиевых опорах, с пологом и навесом, поручили Егору приготовить место для костра, а Кольке позволили надуть резиновые матрасы. Колька с восторгом надувал их, краснея от натуги и очень стараясь, чтобы все было ладно. А Егор, получив от плешивого топорик, ушел в лесок нарубить сушняка.

– Прекрасное место! – щебетала пегая. – Божественный воздух!

– С рыбалкой тут, по-моему, прокол, – сказал сивый. – Эй, малец, как тут насчет рыбки?

– Ерши, – сказал Колька, задыхаясь (он аккурат дул четвертый матрас).

– Ерши – в уху хороши. А путная рыба есть?

– Не-а.

Рыба, может, и была, но Колька по малости лет и отсутствию снасти специализировался в основном на ершах. Кроме того, он был целиком поглощен процессом надувания и беседу вести не решался.

– Сам-то ловишь? – поинтересовался лысый.

– Не-а.

Колька отвечал односложно, потому что для ответа приходилось отрываться от дутья, и воздух немедленно утекал из матраса. Он изо всех сил зажимал дырку пальцами, но резина в этом месте была толстой, и сил у Кольки не хватало.

– А батя-то твой ловит?

– Не-а.

– Чего же так?

– Не-а.

– Содержательный разговор, – вздохнула пегая. – Я же сказала: типичный туземец.

– Молодец, Коля, – похвалила вдруг рыжая. – Ты очень хорошо надуваешь матрасы. Не устал?

– Не-а.

Колька не очень понял, почему он «типичный туземец», но подозревал обидное. Однако не расстраивался: и некогда было, и рыжая тетенька уж очень вовремя похвалила его. А за похвалу Колька готов был не пять – пятьдесят пять матрасов надуть без отдыха.

Но уже к пятому матрасу Колька настолько от стараний уморился, что в голове гудело, как в пустом чугунке. Он сопел, краснел, задыхался, но дутья этого не прекращал: дело следовало

закончить, да и не каждый день матрасы-то надувать приходится. Это ведь тоже ценить надо: матрас-то – для путешествий. И от всего этого он очень пыхтел и уже не слышал, о чем говорят эти туристы. А когда осилил последний, заткнул дырочку пробкой и маленько отдышался – тятка его из ельника выломился. Ель сухую на дрова приволок и сказал:

– Местечко-то мы не очень-то ласковое выбрали, граждане милые. Муравейник тут за ельничком: беспокоить мураши-то будут. Надо бы перебраться куда.

– А большой муравейник-то? – спросил сивый.

– А с погреб, – сказал Егор. – Крепкое семейство, хозяйственное.

– Как интересно! – сказала рыжая. – Покажите, пожалуйста, где он.

– Это можно, – сказал Егор.

Все пошли муравейник смотреть, и Колька тоже: на ходу отдышаться куда как легче. Только за первые елочки заглянули: гора. Что там погреб – с добрую баньку. Метра два с гаком.

– Небоскреб! – сказал плешивый. – Чудо природы.

Муравьев кругом бегало – не счесть. Крупные муравьи: черноголовики. Такой тятнет – сразу подскочишь, и Колька (босиком ведь) на всякий случай подальше держался.

– Вот какое беспокойство вам будет, – сказал Егор. – А там подальше чуть – еще поляночка имеется, я наглядел. Давайте пособлю с пожитками-то: и вам покойно, и им привычно.

– Для ревматизма они полезные, муравьи-то, – задумчиво сказал плешивый. – Вот если у кого ревматизм...

– Ой! – взвилась пегая. – Кусаются, проклятые!..

– Дух чувят, – сказал Егор. – Они мужики самостоятельные.

– Да, – вздохнул лысый. – Неприятное соседство. Обидно.

– Чепуха! – Сивый махнул рукой: – Покорим! Тебя как звать-то, Егором? Одолжи-ка нам бензинчику, Егор. Банка есть?

Не сообразил Егор, зачем бензинчик-то понадобился, но принес: банка нашлась. Принес, подал сивому:

– Вот.

– Молоток мужик, – сказал сивый. – Учтем твою сообразительность. А ну-ка отойдите подальше.

И плеснул всю банку на муравейник. Плеснул, чиркнул спичкой – ракетой взвилось пламя. Завыло, загудело, вмиг обняв весь огромный муравьиный дом.

Заметались черноголовики, скрючиваясь от невыносимого жара, затрещала сухая хвоя, и даже старая ель, десятки лет прикрывавшая лапами муравьиное государство, качнулась и затрепетала от взмывшего в поднебесье раскаленного воздуха.

А Егор с Колькой молча стояли рядом. Загораживаясь от жара руками, глядели, как корчились, сгорая, муравьи, как упорно не разбегались они, а, наоборот, презирая смерть, упрямо лезли и лезли в самое пекло в тщетной надежде спасти хоть одну личинку. Смотрели, как тает на глазах гигантское сооружение, терпеливый труд миллионов крохотных существ, как завивается от жары хвоя на старой ели и как со всех сторон бегут к костру тысячи муравьев, отважно бросаясь в огонь.

– Фейерверк! – восхитилась пегая. – Салют победы!

– Вот и все дела, – усмехнулся сивый. – Человек – царь природы. Верно, малец?

– Царь?.. – растерянно переспросил Колька.

– Царь, малец. Покоритель и завоеватель.

Муравейник догорал, оседая серым, мертвым пеплом. Лысый пошевелил его палкой, огонь вспыхнул еще раз, и все было кончено. Не успевшее погибнуть население растерянно металось вокруг пожарища.

– Отвоевали место под солнцем, – пояснил лысый. – Теперь никто нам не мешает, никто нас не беспокоит.

– Надо бы отпраздновать победку-то, – сказал плешивый. – Сообразите что-нибудь побыстрому, девочки.

– Верно, – поддержал сивый. – Мужика надо угостить.

– И муравьев помянуть! – захохотал лысый. И все пошли к лагерю.

Сзади плелся потерянный Егор, неся пустую банку, в которой с такой готовностью сам же принес бензин. Колька заглядывал ему в глаза, а он избегал этого взгляда, отворачивался, и Колька спросил шепотом:

– Как же так, тятка? Ведь живые же они...

– Да вот, – вздохнул Егор. – Стало быть, так, сынок, раз оно не этак...

На душе у него было смутно, и он хотел бы тотчас же уехать, но ехать пока не велели. Молча готовил место для костра, вырезал рогульки, а когда закончил, бабенки клеенку растелили и расставили закуски.

– Идите, – позвали. – Перекусим на скорую руку.

– Да мы... это... Не надо нам.

– Всякая работа расчета требует, – сказал сивый. – Мальцу – колбаски, например. Хочешь колбаски, малец?

Против колбаски Колька устоять не мог: не часто он видел ее, колбаску-то эту. И пошел к накрытой клеенке раньше отца: тот еще вздыхал да хмурился. А потом поглядел на Кольку и тихо сказал:

– Ты бы руки сполоснул, сынок. Грязные руки-то, поди.

Колька быстренько руки вымыл, получил булку с колбасой, наслаждался, а в глазах мураши бегали. Суетливые, растерянные, отважные. Бегали, корчились, падали, и брюшки у них лопались от страшного жара.

И Егор этих мурашей видел. Даже глаза тер, чтоб забылись они, чтоб из памяти выскочили, а они копошились. И муторно было на душе у него, и делать ничего не хотелось, и к застолью этому садиться тоже не хотелось. Но подсел, когда еще раз позвали. Молча подсел, хоть и полагалось слова добрые людям за приглашение сказать. Молча подсел и молча принял от сивого эмалированную кружку.

– Пей, Егор. С устатку-то употребляешь: по глазам видно. Употребляешь ведь, а?

– Дык, это... Когда случается.

– Считай, что случилось.

– Ну, чтоб жилось вам тут, значит. Чтоб отдыхалось.

Не лезли слова из него, никак не лезли. Черно на душе-то было, и опрокинул он эту кружку, никого не дожидаясь.

– Вот это по-русски! – удивился плешивый. Сроду Егор такую порцию в себя не вливал. Да и пить-то пришлось что-то куда как водки позабористее: враз голову закружило, и все муравьи куда-то из нее подевались. И мужики эти показались ему такими своими, такими добрыми да приветливыми, что Егор и стесняться перестал, и заулыбался от уха до уха, и разговорился вдруг.

– Тут у нас природа кругом. Да. Это у нас тут – пожалуйста, отдыхайте. Тишина, опять же спокой. А человеку что надобно? Спокой ему надобен. Всякая животиная, всякая муравьятина, всякая елка-березонька – все по покою своему тоскуют. Вот и мураши, обратно же они, это... Тоже.

– Философ ты, Егор, – хохотал сивый. – Давай излагай программу!

– Ты погоди, мил человек, погоди. Я чего хочу сказать? Я хочу, этого...

– Спирту ты хочешь!

– Да погоди, мил человек...

Когда Егор выкушивал такую порцию, он всех величал одинаково: «мил человек». Это, так сказать, на первом этапе. А на втором теплел: «мил дружок» обращался. Моргал ласковыми

глазками, улыбался, любил всех бесконечно, жалел почему-то и все пытался хорошее что-то сказать, людей порадовать. Но мысли путались, суетились, как те черноголовики, а слов ему сроду не хватало: видно, при рождении обделили. А уж когда вторую-то кружечку опрокинул – и совсем затуманился.

– Страдает человек. Сильно страдает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому сиротиночки мы: с землей-матушкой в разладе, с лесом-батюшкой в ссоре, с речкой-сестричкой в разлуке горькой. И стоять не на чем, и прислониться не к чему, и освежиться нечем. А вам, мил дружки мои хорошие, особо. Особо вы страдаете, и небо над вами серое. А у нас – голубое. А можно разве черным по голубому-то, а? По сини небесной – номера? Не-ет, мил дружок, нехорошо это, арифметикой по небу. Оно для другого дадено, оно для красоты, для продыху душе дадено. Вот!

– Да ты поэт, мужик. Сказитель!

– Ты погоди, мил дружок, погоди. Я чего хочу сказать-то? Я хочу, чтоб ласково всем было, вот. Чтоб солнышка всем теплого вдосталь, чтоб дождичка мягкого в радость, чтоб травки-муравки в удовольствие полное. Чтоб радости, радости чтоб поболее, мил дружки вы мои хорошие! Для радости да для веселия души человек труд свой производить должен.

– Ты лучше спляши нам для веселья-то. Ну?.. Ай, люли, ай, люли! «Светит месяц, светит ясный...»

– Не надо! – крикнула было рыжая. – Он же на ногах не стоит, что вы!

– Кто не стоит? Егор не стоит? Да Егор у нас – молоток!

– Давай, Егорушка! Ты нас уважаешь?

– Уважаю, хорошие вы мои!

– Не надо, тятка!

– Надо, Колюшка. Уважить надо. И – радостно. Всем – радостно! А что мурашей вы пожгли, то бог с вами. Бог с вами, мил дружки мои хорошие!

Захлопал плешивый:

– «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягодка малинка, малинка моя!..» Шевелись, Егор!

Пели, в ладоши хлопали: только сынок да рыжая смотрели сердито, но Егор их сейчас не видел. Он видел неуловимые, расплывающиеся лица, и ему казалось, что лица эти расплываются в счастливых улыбках.

– Эх, мил дружки вы мои хорошие! Да чтоб я вас не уважил?..

Три раза вставал – и падал. Падал, хохотал до слез, веселился, и все хохотали и веселились. Кое-как поднялся, нелепо затоптался по поляне, размахивая не в лад руками. А ноги путались и гнулись, и он все совался куда то не туда, куда хотел. Туристы хохотали на все лады, кто-то уже плясал вместе с ним, а рыжая обняла Кольку и конфетами угощала.

– Ничего, Коля, ничего. Это сейчас пройдет у него, это так, временно.

Не брал Колька конфет. И смотрел сквозь слезы. Злые слезы были, жгучие.

– Давай, Егор, наяривай! – орал сивый. – Хорошо гуляем!

– Ах, мил дружок, да для тебя...

Кривлялся Егор, падал – и хохотал. От всей души хохотал, от всего сердца: весело ему было, очень даже весело.

– Ай, люли, ай, люли! Два притопа, три прихлопа!..

– Не надо!.. – закричал, затрясся вдруг Колька, вырвавшись из рук рыжей. – Перестань, тятка, перестань!

– Погоди, сынок, погоди. Праздник ведь какой! Людей хороших встретили. Замечательных даже людей!

И опять старался: дрыгался, дергался, падал, поднимался.

– Тятка, перестань!.. – сквозь слезы кричал Колька и тащил отца с поляны. – Перестань же!..

– Не мешай гулять, малец! Давай, давай отсюда.

– Шевели ногой, Егор! Хорошо гуляем!

– Злые вы! – кричал Колька. – Злые, гадкие! Вы нас как мурашей тех, да? Как мурашей?..

– Егор, а сынок-то оскорбляет нас. Нехорошо.

– Покажи отцовскую власть, Егор!

– Как не стыдно! – кричала рыжая. – Он же не соображает сейчас ничего, он же пьяный, как же можно так?

Никто ее не слушал: веселились. Орали, плясали, свистели, топали, хлопали. Колька, плача навзрыд, все волок куда-то отца, а тот падал, упирался.

– Да дай ты ему леща, Егор! Мал еще старшим указывать.

– Мал ты еще старшим указывать... – бормотал Егор, отталкивая Кольку. – Ступай отсюда. Домой ступай, берегом.

– Тятка-а!..

– Ы-ых!..

Размахнулся Егор, ударил. Первый раз в жизни сына ударил и сам испугался: обмер вроде. И все вдруг замолчали. И пляска закончилась. А Колька вмиг перестал плакать: словно выключили его. Молча поднялся, отер лицо рукавом, поглядел в мутные отцовские глаза и пошел.

– Коля! Коля, вернись! – закричала рыжая.

Не обернулся Колька. Шел вдоль берега сквозь кусты и слезы. Так и скрылся.

На поляне стало тихо и неуютно. Егор покачивался, икал, тупо глядя в землю. Остальные молчали.

– Стыдно! – громко сказала рыжая. – Очень стыдно!

И ушла в палатку. И все засовестились вдруг, глаза начали прятать. Сивый вздохнул:

– Перебор. Давай, мужик, отваливай. Держи трояк, садись в свое корыто и – с океанским приветом.

Зажав в кулаке трешку, Егор, шатаясь, побрел к берегу. Все молча глядели, как летел он с обрыва, как брел по воде к лодке, как долго и безуспешно пытался влезть в нее. Пегая сказала брезгливо:

– Алкоголик.

Егор с трудом взобрался в лодку, кое-как, путаясь в веслах, отгреб от берега. Поднялся, качаясь, на ноги, опустил в воду мотор, с силой дернул за пусковой шнур и, потеряв равновесие, полетел через борт в воду.

– Утонет!.. – взвизгнула пегая.

Егор вынырнул: ему было по грудь. Со лба свисали оклизлые космы тины. Уцепился за борт, пытаясь влезть.

– Не утонет, – сказал сивый. – Тут мелко.

– Эй, мужик, ты бы лучше на веслах! – крикнул лысый. – Мотор не трогай, на веслах иди!

– Утенок! – вдруг весело отозвался Егор. – Утеночек это мой! Соревнование утенка с поросенком!

Борт был высок, и, для того чтобы влезть, Егор изо всех сил раскачивал лодку. Раскачав, навалился, но лодка вдруг кувырнулась из-под него, перевернувшись килем вверх. По мутной воде плыли веселые весла. Егор опять скрылся под водой, опять вынырнул, отфыркиваясь, как лошадь. И, уже не пытаясь переворачивать лодку, нащупал в воде веревку и побрел вдоль берега, таща лодку за собой.

– Эй, может, помочь? – окликнул лысый.

Егор не отозвался. Молча пер по грудь в воде, весь в тине, как водяной. Оступался, падал, снова вставал, мотая головой и отплевываясь. Но веревку не отпускал, и перевернутая килем вверх лодка тяжело волочилась сзади.

А мотора на корме не было. Ни мотора, ни бачка с бензином, ни ключин: все ушло на дно. Но Егор не оглядывался и ничего сейчас не соображал. Просто волок лодку вдоль берега в хозяйство усталого Якова Прокопыча.

## 6

«Где дурак потерял, там умный нашел» – так-то старики говаривали. И они многое знали, потому как дураков на их веку было нисколько не меньше, чем на нашем.

Федор Ипатович в большой озабоченности дни проживал. Дело не в деньгах было – деньги имелись. Дело было в том, что не мог разумный человек с деньгами своими добровольно расстаться. Вот так вот, за здорово живешь, выложить их на стол, под чужую руку. Невыносимая для Федора Ипатовича это была задача.

А решать ее приходилось, невыносимую-то. Приходилось, потому что новый лесничий (вежливый, язвы его!), так новый лесничий этот при первом же знакомстве отчеты полистал, справочки просмотрел и спросил:

– Во сколько же вам дом обошелся, товарищ Бурьянов?

– Дом? – Дошлый был мужик Федор-то Ипатович: сразу смикитил, куда щеголь этот городской оглоблю гнет. – А прежний за него отдал. Новый мне свояк ставил, так я ему за это прежний свой уступил. Все честь по чести: могу заявление заверенное...

– Я не о строительстве спрашиваю. Я спрашиваю: сколько стоит лес, из которого выстроен ваш новый дом? Кто давал вам разрешение на порубку в охранной зоне и где это разрешение? Где счета, ведомости, справки?

– Так ведь не все сочтешь, Юрий Петрович. Дело наше лесное.

– Дело ваше уголовное, Бурьянов.

С тем и расстались, с веселым разговором. Правда, срок лесничий установил: две недели. Через две недели просил все в ажур привести, не то...

– Не то хана, Марья. Засудит.

– Ахти нам, Феденька!

– Считаться хотите? Ладно, посчитаемся!

Деньги-то имелись, да расстаться с ними сил не было. Главное, дом-то уже стоял. Стоял дом – картинка, с петухом на крыше. И задним числом за него деньги гнать – это ж обидно до невозможности.

Поднажал Ипатович. Пару сотен за дровишки выручил. Из того же леса, вестимо: пока лесничий в городе в карту глядел, лыко драть можно было. Грех лыко не драть, когда на лапти спрос. Но разворачиваться вовсю все же опасался: о том, что лесничий строг, и до поселка слух дополз. В другие возможности кинулся. И сам искал, и сына натаскивал:

– Нюхай, Вовка, откуда рублем тянет.

Вовка и унюхал. Невелика, правда, пожива: три десяточки всего за совет, разрешение да перевозку. Но и три десяточки – тоже деньги.

Тридцатку эту Федор Ипатович с туристов содрал. Заскучали они на водохранилище тем же вечером: рыба не брала. Вовка первым про то дознался (братика искать послали, да до братика ли тут, когда рублем веет!), дознался и отцу доложил. Тот прибыл немедля, с мужиками за руку поздоровался, папироску у костра выкурил, насчет клева посокрушался и сказал:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.